

Перикл Ставров

**НА
ВЪЗМАХЕ
КРЫЛА**



ВМВ 2003

Перикл Ставров

НА ВЗМАХЕ КРЫЛА

*Утро рассветною пылью туманится
В розовом облаке перистых чаяний,
День начинают святыи и пьяницы
Для ожиданий, намеков, раскаяний.*

*...Как на беду, ничего не случается.
Жить очень хочется. Жизнь продолжается.*

П. Ставров

ББК 84–(4Укр=Рус)6-5
С99

На взмахе крыла.

Составители и комментаторы:
Евгений Голубовский,
Виталий Амурский.

Книга, изданная в начале нового, 21 века, знакомит с творчеством поэта южнорусской школы — грека П. Ставрова.

Тираж 150 экземпляров.

Экз. № 121

Составители и комментаторы благодарят за помощь в издании книги А.И. Ильф, С.З. Лущика, О.М. Барковскую, Р.Д. Тименчика.

Книга издана благодаря финансовой поддержке Одесского отделения Фонда греческой культуры.

ISBN 966-96247-9-7



**Перикл Ставров. 1934 год. Париж.
(Фрагмент из коллективной фотографии сотрудников и авторов
журнала "Числа".)**

предоставить листы для проверки г. Декану или Секретарю и лекционную книжку, засиль

Здесь отсутствовали 65 уч-к
Здесь отсутствовали на звание ф-на 198

ПРИНЯТО РУК.

ЗАПИСЬ НА ЛЕКЦИИ СТУДЕНТА

Юридического факультета

Фамилия: *Perikla Stavropulo*
Имя: *Perikla*
Отчество: *Stavropulo*

всё Дек. полугодии 1917-1918 уч. г.

IV

Фамилия преподавателя	ПРЕДМЕТЫ ЧТЕНИЙ	Лекции
Проф. Васильевский	Гражданский процесс Практическая записка по гражданскому процессу	4
Васильевский	Уголовный процесс	1
Илаузов	Торговое право	3
Федоров	Практическая записка по торговому праву	4
Федоров	Практическая записка по земельному праву	2
Смирнов	Практическая записка по уголовному праву	1
Нечиринский	Практическая записка по гражданскому праву	2
Згоровский	Международное право	2
Казанский	Практическая записка по международному праву	4
Казанский	Классическое право	1
		24

Документ студента Перикла Ставропуло (Одесский облархив).

5^e mille

ELIE ILF ET EUGÈNE PETROV

Un Millionnaire
au
Pays des Soviets

Roman
Traduit du russe
par
VICTOR LLOXA et P. STAVROV



ALBIN MICHEL, ÉDITEUR
22, Rue du Faubourg, PARIS

«Золотый теленок»

Обложка первого издания перевода «Двенадцати стульев»
Перевод В. Ллона и П. Ставрова. Париж, 1934 год.

О, тихая моя свобода

У берега Черного моря стоит Одесса. В ее имени пробуждается "умолкнувший звук божественной эллинской речи", соединивший древность греческих поселений, существовавших здесь две с половиной тысячи лет тому назад, с юностью города и дальнейшей его судьбой. Юная Одесса обретала опыт безупречности пропорций и гармонии архитектурных образов в древнегреческом зодчестве, борющаяся против турецкого ига Эллада нашла в Одессе сочувствие и поддержку свободолюбивым порывам.

Одесса стала для греков не чужим городом. Вот уже почти двести лет греческие названия, греческие имена, греческие фамилии стали в Одессе своими.

В южнорусской литературной школе, которой прославилась Одесса, были писатели многих национальностей: русские Валентин Катаев и Евгений Петров, евреи Исаак Бабель и Эдуард Багрицкий, поляк Юрий Олеша, украинцы Иван Микитенко и Владимир Сосюра, грузин Георгий Цагарели... Естественным было пребывание в этой талантливой, яркой, молодой, авангардной группе поэтов и прозаиков — грека. И Перикл Ставров, коренной одессит Ставропуло, писал по-русски, переводил с русского на греческий, затем, в годы эмиграции, на французский. Хоть принадлежал он, как и все писатели "Юго-Запада", конечно, к русской культуре.

В журнале "Бомба", выходившем в Одессе в 1917 году, удалось найти пародию друга Э. Багрицкого Петра Сторицына (а впрочем, все они были друзьями — и А. Фиолетов, и З. Шишова, и братья Бобовичи) на Перикла Ставропуло.

Читайте:

С. Т. А. — Ставропуло.

А я не таковский:

Вы одного, господа, не знаете:

Пишется — Ставропуло,

А читается — Маяковский.

А потом революция многое расставила по своим местам. К конструктивистам приблизились Эдуард Багрицкий и Вера Инбер, а П. Ставров (книги, стихи он издавал под таким псевдонимом) в поисках тихой свободы увлекся Ф. Тютчевым и И. Анненским.

В Одессе стихи П. Ставропуло публиковались крайне редко. Пришлось заняться скетчами, а затем он задумал тихо пересидеть "окаянные дни" и добивался отъезда в Грецию, обладая греческим паспортом. Фортуна дважды была благосклонна к Ставрову. И когда он получил разрешение на выезд из России, и когда в годы второй мировой войны остался жив в Париже. Он прожил недолго (1895 — 1955), но насыщенно и глубоко, дружил с выдающимися литераторами — И. Буниным и Н. Тэффи, с великим философом Н. Бердяевым, с основателем движения Сопротивления в Париже Б. Вильде.

Эта книга впервые вводит в круг одесских дореволюционных, а затем парижских эмигрантских писателей Перикла Ставровича Ставрова. И благодарны мы за это должны быть Александре Ильиничне Ильф, у которой сохранился первый парижский сборник Пиры (так называли его между собой в кругу друзей) "Без последствий" с автографом-посвящением Илье Ильфу, с которым они встречались в Париже в 1934 году. Интересно и то, что П. Ставров перевел на французский язык ^{«Золотой Стульев»} ~~"Двенадцать стульев"~~.

Рассказ Александры Ильиничны Ильф о хранящемся у нее редком сборнике мог бы остаться нереализо-

ванным, так как в Одессе практически не удавалось найти материалы, которые помогли бы вернуть имя поэта и прозаика. И тут по моей просьбе на помощь пришел работающий в Париже журналист и книголюб Виталий Амурский. Он не только нашел и ксерокопировал второй сборник "Ночью", но и разыскал, кажется, все литературное наследие П. Ставрова.

Так в серию возвращенных имен, изъятых, казалось бы, из небытия, удалось вернуть еще одно имя. Как и предыдущие сборники: А. Фиолетова, В. Инбер, Н. Крандиевской-Толстой — этот также издается коллекционным тиражом в сто пятьдесят экземпляров.

Иллюстрации для книги взяты из наследия художника того же одесского, а затем парижского круга — Сигизмунда Олесевича. Так приоткрылась еще одна страница литературной жизни Одессы, получившая парижское продолжение. Кстати, С. Олесевич на одной из одесских выставок представил портрет П. Ставропуло. Увы, судьба картины нам неизвестна. А судьбы двух героев литературно-художественной Одессы двадцатых годов двадцатого века вновь переплелись в этой книге.

В "Поэме горести" Перикл Ставров писал: "Ну, разве что, выть по-собачьи, как ветер в оставленной даче?" Ему выпала другая жизнь. Его не расстреляли красные, как Вениамина Бабаджана, не убили бандиты, как Анатолия Фиолетова, не расстреляли в застенках НКВД, как Исаака Бабеля. Ему досталась тихая свобода. Написал он, правда, немного. Но воздал добрые слова друзьям одесской юности и парижской зрелости.



ИЗ РАННИХ СТИХОВ



В КИНЕМАТОГРАФЕ

Все поцелуи и вздохи — лупы!
Довольно затрепанной луны,
Довольно потасканных аллсек
И пошленького трепыханья ветра,
Когда — за восемьдесят копеек —
Четыре тысячи метров.
Вы! В грязной панамке!
Серый слизняк,
Сюсюкающий над зализанной самкой,
Подтянитесь и сядьте ровнее!
Сегодня вы — граф де Реньяк,
Приехавший из Новой Гвинеи,
Чтобы похитить два миллиона
из Международного Банка.
А ваша соседка с изжеванным лицом,
Дегенератка с склонностью к истерике,
Уезжает с очаровательным подлецом
В какую-нибудь блистательную Америку!
Но метры взбесились и несутся, как ураган.
И после трагического кораблекрушения
Грабитель Мастоки между Миланом и Римом
Готовит такое замечательное покушение,
Что от взрыва затрясется экран
И в публике запахнет серой и дымом!..
Вот вам небольшой гидроплан.
Улетайте подобра-поздорову на Таити.
Что? Не хотите?
Бойтесь опоздать на семейный ужин?
Молчите! Летите!
А не то будет хуже...

МИРОВОЙ КОНГРЕСС

Этого нет еще и не было в газетах,
Но будет.
Когда мир опошлеет, как истрепанная монета,
Как заплеванный пол
прокуренного ресторана,
Когда домов человеческих лес
Загниет, как огромная черная рана, —
Тогда соберется мировой конгресс.
На каких-нибудь Гималаях,
Среди вздыбившегося гранита
и ослепительного сланца,
На самом высочайшем пике
Предстанут —
великолепная республика Франция
И умиленная Коста-Рика.
Будет немного странно и немного жутко...
И кто-нибудь бледный и хмурый,
С вылинявшими глазами
панельной проститутки
Скажет, рассеянно догрызывая окурочек,
Что надо остановить человеческую волну,
Что миру нужен долгий и упорный роздых,
Чтобы забыть свою окровавленную вину...
.....
Пропеллером взвинчивая воздух,
Нахлестывая стальные стержни аппарата,
Будет кричать по дороге: "Долой войну!" —
Случайно запоздавший император.
И на темную пададь бессмысленного и злого
Будет с таким изумительным совершенством
Брошено последнее короткое слово,
Что сразу запротестуют
все телеграфные агентства.
А откормленные президенты,

Забывшие о нафабранных цилиндрах
и узорных фраках
Сорвут свои золотистые позументы
И будут долго и умиленно плакать.

ДИАНА

Не зная страсти и сомнений,
От скучных далей далека,
Вы в платье сладостной сирени
Следите в небе облака.
Духов струятся ароматы,
И Вы глядите в ночи дым,
Качая веер розоватый,
Расшитый шелком золотым.
Я опьянен последним знаком.
— О, страсть безумна и строга —
И в туфельке, покрытой лаком,
Укрылась робкая нога.
Когда-то гордою Дианой
Под возглас труб и рев зверей
В волне лучистого тумана
Вы шли средь золотых полей.
Вы шли... Дрожа, летали тени,
Земля струила фимиам.
Вы шли... И падали олени
К легко ступающим ногам.
И лук упорный напрягая,
Вы видели в цветной дали,
Как птицы легкие взлетают
Над влажной зеленью земли.
Прошли века. Пастух унылый,
Я стал поэтом и бойцом.
Но вновь я вижу облик милый,

Зажженный розовым огнем.
Диана в образе маркизы,
Вкусившая охоты власть,
Какие новые капризы
Несет Вам радостная страсть?
Безмолвный муж смотрит спокойно,
Огнем отравлен золотым,
Как всходит медленно и стройно
Над Вами славословий дым.
И лицедеи, и поэты,
Забыв тревоги и грехи,
Вам шлют напевы и приветы
И пишут скорбные стихи.
Но я Вас помню в сне усталом
Над серебрящейся землей.
Вы шли. Сияя в блеске алом,
Качался месяц золотой.
Как древле в сумрачной пещере,
Слагая песни о тоске,
Я жду Вас, нежная химера,
И Вы рядите вдалеке.

ДВЕ КНИГИ



П. СТАВРОВ

БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИ

ПАРИЖ

1933

Милому Ильфу
дружески
и
сердечно
П. Ставров

Автограф П. Ставрова на книге, подаренной Илье Ильфу
в Париже в 1934 г.



НОЧЬЮ

Потрескивая — (и не дышит)
И опять немного немей,
И опять убегает излишек
Опустевших и вынутых дней.

Суэта — это только начало
Не мышинной и злой беготне
(Только капельником стучала
На тишайшем твоём огне).

Ведь на нем (да на лунной пыли)
Не такой ещё таял лед

И старинным романсом крылья,
Шелестя, раскрывал полет.

Да на той ослепительной круче
За порог, за последний порог —
И опять тишиной скручен
У твоих шевелился ног.

Поскорее следы замести,
Замести — и сказать покороче.
То ли дело, шатаясь, брести
Безответственной ночью.

Безответственной ночью, когда, задрожав,
Захлебнутся часы на затравленном бое,
На затравленном бое убийств и отрав,
Захлебнутся и в ночь наклюбят темнотою.

И в чаду, и в огне загорается мир,
Но по остовам черных событий,
Как по шпалам, брести на дымящийся пир
Полунощных отрав и открытий.

ПОЭМА ГОРЕСТИ

Завешаны окна, и наглухо дверь.
Довольно бравады и рвенье умерь.

Довольно бравады — не надо,
Цветы на обоях — рулады,
Когда откровения птицами нелюди
В слинявшем,
дешевом
последнем отеле.

(Ну, разве что, за спину руки
И маять отдельную скуку.)

Что может —
Больнее и слаже,
Один на высоком отдельном этаже
В одиночестве сир.

Внизу рестораны — распахнутый мир,
Капли на стеклах — ртутными слитками,
Вечер захлестнут напитками,

Слова, как клейма,
Сверкают, звенят, рассыпаются бойко
И сыплются скукой на цинковой стойке.

(Ну, разве что, выть по-собачьи,
Как ветер в оставленной даче?)

ОСЕННЯЯ РОМАНТИКА

Не певец, не поэт и не воин,
Не поэт, оскудевший герой,
Ты монашеских будней достоин
Под монашески бедной скуфьей.

Погляди — над вороньим пленом
Полыхает полет огней.
Погляди — эта ночь по колена
Увязает в судьбе твоей.

И сбылось — на четыре недели
Раскидался зловецкий зов,

Что холодные струи пронели
По затворкам осенних дворов.

И пока, зарыдав, заколышет
Тишину обезумевший рог —
Это конь твой по аспиду пишет
Затекающих хрипом дорог.

У окна ль одичало глянет,
У ворот ли приветит рок,
Пенасытное сердце станет
В не намеченный сердцем срок.

АФИША

Тот неподвижный, мертвый свет
Спиралью скручен до отказа,
Чтобы рассказанных побед
Не восстанавливать ни разу.

На той стене бледнел рассказ
Больной и выдуманной птицей,
И потому ему не раз,
Но каждым вечером томиться.

КОНЦЕРТ

Осишнее эхо последних погонь
Туманит простейшие вещи,
Где в черную улицу белый огонь,
Как кровь из артерии, хлещет,

Где каждый припадок жуют знатоки,
Как кость, напоенную жиром,

Но ночи уходят, и дни коротки
Для долгого, страшного пира.

И в этот сомнительный кордебалет,
В зверинец истерик и хохота,
На долгие сотни и тысячи лет
Иду, арестованный похотью.

И взломан секрет. И круглится зрачок,
Опухший от всех удивлений,
И черные струны взрывает смычок,
И золотом брызжут колени.

И яростен свет. И пленительна роль.
И занавес вздернут высоко,
Но вечную память и долгую боль
Хранит одичалое око.

Не слишком ли пьяный маэстро ретив?
О, ярая злость, не печалься!
И брызнувшей каплей застынет мотив
На кончике мертвого вальса.

ПРОБУДИВШИСЬ

Еще зачем, еще затем
Вчерашним запахом дымится,
Но отойдет ночная темь
И скоро перестанет сниться.

В последний раз и лень, и тлень
Перекатали отголоски,
На утре темь, и новый день
Повис на волосе прически.

Календарем заряд отряд
Уже умыт и ежечасен,
И вот весь утренний наряд,
Как по почам, до боли ясен.

Только двери захлопнуть — и мир,
Расцветая, огромный и велеречивый,
Тот нежданный, незванный, печальный пир,
Как трамваем по рельсам, высекает огнивом.

За туманом, за спешкой, за дымкой погонь,
За туманом и мокрым угроз бормотаньем
Расцветающий мир высекает огонь,
Распахнувшийся день осеня сияньем.

От тумана огонь и чадит, и дымится.
Это, видно, и вечером только мне снится.

РЫНОК НА РАССВЕТЕ

Огни не те, и прочь
Не та сворачивает ночь.

...Почная дрожь
До дна не вышита дремотой.
И зябко наступает ложь
Сведенной судоргой заботы,
Вероятно, судорга и там,
Где предрассветное месиво,
Распределяясь по местам,
Мешками двигает лениво.

И, задыхаясь, суета
На то наваливает это.

Но разве судорга не та
На синем трепете рассвета?

Не наступая, день встает,
Грохочет вывеской пустою,
И рассыпается полет
Почей пустою шелухою.

...Не тот полет, огни не те
В ненаступившей пустоте.

ТУМАН

Этот — от тысячи лет
Выходом выползший тесным
Мелкий и мутный бред
К вечеру стал известен.

Будто набух, налит
Холодом вымытый погреб,
Только свистит вдали
За упокой во гробе.

Этот ли свист в ночи,
Ставший змеиным шепотом,
Ветром теперь стучит,
Ветром пошел пришептывать.

Ночью узнать не нам,
Ночью едва ли вызнаешь.

Сыплет теперь туман
Пеплом остывшей тризны.

РЕКА

Уже запутавшись в сетях,
Очередьми перебегая,
На запрокинутых огнях
Река плывет, как неживая.

Ей сквозь туман, как легкий бред,
Ей, сквозь вуаль недоуменья,
Наутро, в пять, чуть брезжит свет,
Уже шептать про наводненья.

Ей просыпаться, скажем, в пять,
Сквозь блеск и всхлип перемогаясь,
Ей про ненастье бормотать,
Свинцовым холодом вздуваясь.

Ей, спотыкаясь о мосты,
Под блеск ночных недоумений
Переворачивать листы
Несовершенных преступлений.
На черных сваях, наснех, вплавь,
Без оправданий, без допросов,
Пока пугающая явь
Не встанет призраком белесым.

РОВНО В ВОСЕМЬ

Жизнь начинается в восемь,
Полотница рвет и носит.
Морщит
Желтых листьев отчаянный сборщик,

Запинаясь по трубам
В усердьи сугубом.

На запинке,
Под стрекот,
Под плеск маховичный,
Улюлюканье свиста,
В черный плен заключат восковые кабинки
Скользящего лифта,
Как в последнюю сказку безумного Свифта.

Ровно в восемь
Нас бросили
коридорами осени.

Чтоб под плеск маховичный
Захлебнуться восторгом первичным.

Захлебнулись. Поем.
За окном
Об одном,
Об одном.
Желтым медом безумья сочащие соты.
Ровно в восемь
Холодная осень
Рассчитается с каждым
Костяшками счетов.

КАФЕ

День ото дня и день за днем
Не разглядеть от дыма трубок
За отуманенным стеклом
Нерасцветающих улыбок.

А эта тьма газет — газет
Так злободневно торжествует.
Надежды нет. Исхода нет.
И слово молвлено впустую.

Молчат. Синее небо,
И звон сменяется шуршанием.
Того гляди — и скрипнет блок,
И глянет пустота зиянием.

В ДОЖДЬ

Сквозь шахматной сетку доски
(Я в дождь ни за что не ручаюсь)
Озноб разошелся тоски,
Встревоженный звоном отчаяния.

Итог, и расчет, и урон
(Спокойствие комнатной мебели)
Упали в трамвайный трезвон,
Трезвонном покрыты, как небылью.

И небыли этой в туман,
Что сеткой отмерен и вырезан,
По скрежету рельсовых ран
Скользит недоношенным призраком.

Я знаю, что все невзначай,
Что встречено раньше и после,
Зачем же по рельсам трамвай
Гремит оглушительным "если"?

И сну на остывшем листе,
И встречаю, и шепотным вздохам,

Как Вию, застрять в темноте,
Застрясть в неоконченных строфах.

И столько в забытой строфе
Провалов и скорби урона,
Что даже случайность кафе
Становится жизни законом.

МОКРАЯ ДРАМА

Это все же ведь драма как драма:
Отблестев, отразивши, отплев,
Не закончив вскипевший панев —
С маху броситься в сточную яму.

Оттого эти ахи и охи
Вдоль и поперек — в плотную мглу,
Оттого причитанья и вздохи
За окном — по стеклу.

Не порыв — поведение такое
(Разве дрожью нельзя истомить?),
Но легко ли, скажите, запоем,
Задыхаясь, двоить и двоить?

Это так — без конца и начала,
Но хотя продолжения нет,
Наследив по страницам журналов,
Завтра глянет из ваших газет.

ГРИПП

От палочек, бактерий и нагноений
Водосточные трубы хлестали в карьер,

Вопросительным знаком
согнулся от удивлений
Случайно промелькнувший шофер.

Вот раздолье фонарям
про былое вызванивать
Но растекшимся лужам желтым шаром,
Коридорами блеска по черным прогалинам
На промокшие стены идти напролом.

Много ль надо затеков и всхлипов?
Аспирином источенный свален больной,
Бормотавшую улицу холодом выпив,
В застекленном застенке, где тот и иной,

Перевязанный накрепко
госпитальной тоскою,
Обленившие волоса сбив колтуном,
Спозаранку заходится хриплым запоем
Над простуженным сном.

НЕ ОЗАРЕНЬЕМ

Не озареньем, не событиями
Исполосован календарь,
И тот вопрос, как быть, не быть ему,
Не повторяется, как встарь.

И как забыть, что эти просини,
На миг взвихренные опять,
Когда-то очерствелой осени
Не уставали осенять,

Что дни унылые развесили
Дырявый свой иконостас,
Что сквозь окно совсем не весело
Глядит тумана желтый глаз,

Что переваливаясь кочками,
По расписанью, не в карьер,
Докатывается в одиночку
Из моды вышедший премьер.

ДЕНЬ ТАК ПРОСТО

День так просто угас и вымер,
Как больной в удушье подушки,
Отконтел, заволокея дымом,
Отошел, прохрипев старушкой.

Только стужа мелькнула печалью,
И, прозрев серую плесень,
Вечер, синюю выжженный сталью,
Подымается тысячью весен...

ОПУСТОШЕНИЕ

Не в срок обозначая роздых,
Затих перегруженный воздух,
И день — необычайно душен,
И вечер — тысячью отдушин.

Как сорвавшийся приступ тоски,
Как горячее пламя, как языки
Над обугленным тлением,

И незаконченная скорбь
Через мгновенье будет смыта.

Настиг налетом. Что теперь?
И вдруг такое обнищанье,
Что и поспешный счет потерь
Звучит последним подаяньем.

В разноголосьи что хватать:
Вот этот голос, рот иль губы?
И вот по-новому звучат
Иного мира звон и трубы.

Располагается хаос
Так откровенно, так раздольно,
И перебит, и смят вопрос,
И в новый мир вступать не больно.

ПОД ЗАТРАВЛЕННЫЙ ШЕПОТ

Под затравленный шепот учебы
На чернильные, взмокшие пятна
Пусть прольется чернильная злоба
На холодных листьях, на распятых.

Каждый лист — что накопленный ростом,
Каждый лист — невозвратная ссуда.
Пусть сгорит, свиваясь берестой,
Безнадежным процентом причуда.

Каждый трепет поет окончанье
Бормотаньем сведенных итогов,
Каждый шаг — перечтен бормотаньем
Цифровой, одичалой тревоги,

Что последнюю горькую сумму
На полях лихорадочно чертит
И качается звонким безумьем
Под панев цифровых поветрий.

Мне под звон ежедневных взысканий
Поскорей бы проверить и вызнать
Эту запись дурмана качаний,
Назубок изучаемых жизнью.

ДРОБЬ ДЖАЗА

Дверь взметнуть, разъярясь,
Точно бритвой царануть стекло.
Сверху слякоть и грязь,
А внизу и тепло, и светло.

Эта дробь. Этой дроби раскат
Раскаляется жаркой иглой.
По ни шагу вперед, по ни шагу назад,
С перерезанным горлом гобой.

На дыбы, на дыбы, и пускается вскачь.
Разметая горячий песок,
Рассыная клубок разрешенных задач
На столов раскаленный каток.

Пересохшее горло. И пар.
Пересохшее горло. Глоток.
И огромный, округлый и вздувшийся шар
Подымается кверху и бьет в потолок.

От жары разлетается он,
Предлагая любви порцион.

И вот, захлебнувшись в остатках раскаянья,
Холодное, злое, глухое отчаяние
Забытою вехой в пустой высоте,
Раскатистой дробью на звонком листе.

...Эта дробь, этой дробью раскат,
Но ни шагу вперед, но ни шагу назад.

Тише, дамы! За столько лет
Подмигнет вам червонный валет.

Т Е А Т Р

С утра наклубила предвестница тень,
Стоять бы, глядеть бы, не двинуться.
С утра наклубила — и глянула в день,
И долго глядела очами пустышницы.
И час, как паяц, как фигляр, как скакун,

Качнув равновесие над облачным маревом,
Вскочил на канат перекинутых струн,
Привстал, между прочим, и дело заваривал.

И пар. И над паром луна,
Расшаркавшись ядом, мечтами да струями,
С трудом водворялась на просинь окна,
Свистать соловьем да хрустеть поцелуями.

И сад, чтоб спектакль не обчелся без вас,
Чтоб было ревниво, чтоб нахло убийствами,
Пронзила кинжалом египетских глаз,
И стрелами страсти почти ассирийскими.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Любовь тоске наперекор,
Любовь отвергнутого брата,
Как бы позор — и не позор,
И чувств последняя растрата.

Когда на карте стынет — нет,
Но сердце бьется слишком точно.
И бред как будто бы не бред,
Как будто высчитан построчно.

Когда построчно вычтен румб,
Когда построчно вычесть надо
Тот путь — от пароходных тумб
До Сингапура и Канады.

Когда тот бред ясней, чем лет,
Чем лет причального каната,
Когда свое в конце возьмет
Неутомимая расплата.

ДОРОГА

Пронзительный трезвон
Еще не вымерян построчно,
Но до конца не утвержден
Дождя допросом перекрестным.

Рекорд неведомых побед
Еще весною не поставлен,
Но по утрам дымится след
От разогретых шиной вдавлиин.

Хотя бы ветер, горы, лес,
Еще не сказано — дорога,
Но и ее клочок небес
Пам открывает понемногу.

Неутомимости закал
Сам по себе немного стоил,
Когда б повсюду не мелькал
Неистощимый "Motor-Oil".

И за стремление отдать
Искусство отдано сторицей,
По красным шапкам узнавать
Грядущих сновидений лица.

ВНИМАНЬЕ, ВНИМАНЬЕ

Вниманье, вниманье — день
Затих на последней упорной утрате.
Мгновенье, мгновенье — тень,
Совсем как на карте, на черном закате.

И вот для того ль на высокой игле
Надломленный вечер застыл виртуозом,
Чтоб радуга туч по встревоженной мгле
Тянулась широким и пышным обозом.

А там, по углам — для того, для того ли
Узоры и краски расцвечены пышностью,
Чтоб черные крыши на розовом поле
На десять минут потрясти необычностью.

На десять минут — и затем, посерев,
Внизу растянуться на пыли дорожной,

Раскрылся надлом — и в раскрывшийся зев
Стремящийся бег задержать невозможно.

КРУШЕНЬЕ

В неколебимость пустоты
Они улягутся нескоро,
У остановленной черты
Заторможенные просторы.

И перебегу полевых,
Простых, некошенных видений
Не перегнать, не уловить
Псукротимости крушений.

Когда разбег на всех парах,
Вздуваясь времени одышкой,
На недокошенных буграх
Застыл чудовищною вышкой.

И окончанье всех тревог
В ночи, на поводу у ветра,
На перекрестке всех дорог
Поднял последним километром.

СЕНСАЦИЯ

Обложка желтей лимона,
Странствуют десять страниц,

Где лихорадочно звонит
Сенсация в десять страниц.

Зарницы синей и глубже,
В боль барабанит рука,
Галя моя, приголубь же
Отъявленного игрока.

Он от преддверья Ниццы,
Ниццу любовью залив,
Схимником каждой страницы
Переплывает залив.

Он на мильон терзаний,
Вызеленив сукно,
Золотом восклицаний
Окровянил казино.

То ли ему погоня,
То ли ему любовь —
Он в чемодане агоний,
Девью увозит кровь.

СИНЕВА

Синее синь, и ветер влет
Стал бить уверенно и споро,
И вот волна уже ведет
С песком морские разговоры.

Сейчас настойчиво и в ряд
Запляшут пляжные игрушки,
И гичка станет наугад
Качать восторженной частушкой.

И в синеве не угадать
Той неожиданной свирели,

И, напрягаясь, провода
Уже пронзительно запели...

СЕВЕР

Скат роковых куртин,
Белым поросший клевером,
Сердце седых глубин
Бьется горячим севером.

Песня. И кровь стучит,
Песня залита кровью,
Словно поэт в ночи,
Шедший на бой с любовью.

Точно набег — напев
Криком, размахом ринется,
Перекровавив зев,
Болью на льду раскинется.

И, раскачавши бег,
Ветром развея бороду,
Север исходит в снег
Свистом истошным холода.

Но невдомек во мгле,
Меру пребыв урочную,
Что на его игле
Небо повисло ключьями.

П. СТАВРОВ

НОЧЬЮ

СТИХИ

ПАРИЖ

1937

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ



* * *

Еще луна, синева и снег
На большом перекрестке пустынных дорог,
Еще слова сказал человек,
Слова, что раньше сказать не мог.

Еще, как вчера, настигала беда,
В стеклянное небо упирался дымок,
Еще, как вчера, никто никогда
Огромного неба вместить не мог.

* * *

Еще понятны и легки
Слова, упавшие не в срок,

Вдали мелькнувший огонек,
Тепло мгновенное руки.

Еще — надейся и умножь
Внезапно вспыхнувшую дрожь.
И на луче от фонаря
Еще ответная заря
Закату нежному верна,

Но рядом — пенясь исчерна,
Пад глуховатой темнотою,
Но рядом, за морской чертою,
За плеском плеск, за взлетом взлет
Ведут нездешней скуке счет.

ФОНАРИКИ

Эти сумерки — черные с синим,
И луна — неживая печать.
За фонарным расцветом павлиньим
Мне живого лица не узнать.

И приходится верить, что тайна
В огоньках, фонарях — белизной
На гранит и чугун неслучайно
Разливается светлой луной.

Ей сегодня легко и нарядно
(Ах, зачем обрывается нить
Этим вечером смутным и чадным)
В металлических лужах светить.

Как в таком удержаться скольженьи?
(Синева, холодок, полет.)

И каким запылал отраженьем
Электрической радуги взлет?

.....
Ах, фонарики — черные с синим.
Ротой, в струнку — мучительный строй...
Здесь обряд ослепительных линий
Завершается мертвой луной.

* * *

Часов отбиванье звучит, как отбой.
(Метаться ль нам дальше куда и откуда?)
И взморьем, и синью, и нашей тоской
Сейчас завладеет луна и причуда.

Я знаю, я вижу — полуденный свет
За лунную тень отступает не сразу,
Но новый, заоблачный, призрачный бред
Внезапно приближен на уровень глаза,

Всплывая в легчайший и радостный пух
В высокой волне напряженного света,
Пока возглашающий трижды петух
Зарвавшийся взлет не притянет к ответу.

* * *

Скука выдуманного вокзала.
За оградой скупо вянут розы,
В этой сказке будет для начала
Грохотавший, убежавший поезд.

Уходящим призраком печали
Лица, тени пролетали мимо,
Наплывая, снова повторяли,
Повторяли о неповторимом...

Ускользала пыльная дорога,
Но колеса истоиво стучали
Позади оставленной тревогой,
Той, что оставалась на вокзале.

И в последний раз (в чаду, в дремоте)
На высокой, чистой, строгой ноте
Свист о несмолкающей заботе...

* * *

Слепой переулок. Слепой огонек.
Четырнадцать вдоль — и пять поперек.

Пустынное небо под такт шагов —
Как черная песня без всяких слов.

Прохожий чудак под цветистым кольцом
Встречает чужим, не своим лицом.

— Ей-ей, до зари куда идти?
— Ей-ей, уголка веселей не найти.

Знакомый, большой и нестрашный дом
За темным, пустым, перебитым стеклом.

Слепой переулок — нестрашный — лег.
Четырнадцать вдоль и пять поперек.

* * *

Этот сон невозможно понять,
Так докучливый шепот несносен.
Будут золотом листья сверкать
В безнадежно-прекрасную осень,

Будет в воздухе нежном кружить
Золотая, невидная нить.

Этот сон невозможно понять —
Каждый сорванный лист, как печать,

Но, как нищий, обугленный лес
В бесконечную четкость небес,
И легчайшее кружево дней
Все бедней, все нежней...

О, короткое зарево дней
Над сгоревшею жизнью моей!

* * *

Может быть —
по снегу, в иступленьи
быстрый бег в проталинах полей,
и последнее из считанных мгновений
верной гибели моей.

Может быть —
как миг, воспоминанье,
жаркий вздох и жадность до конца,
и светлей — холодное сиянье
бледных звезд у мертвого лица.

Может быть —
труднее бег и тише,
свист — дыхание, и окровавлен рот,
что ни шаг — огромное и выше
мой последний небосвод.

* * *

Два огонька из двух орбит
Зовут войти. Садись и пей,
Играй и пей. Вино дробит
Огонь на тысячу огней.

* * *

"Добрый вечер!" Глухой и замученный май
Пролетает веселый и звонкий трамвай...

И сегодня — опять
Из углов, из прорех
Веселее звенят
Приключенье и смех,
И на каждом углу,
Огоньками согрет,
Торопись,
Уходи
В синеватую мглу,
Запоздавший поэт.

Уходи в беспечальный поток,
Торопись и тревожь
Невеселую, темную дрожь
И высокий в груди холодок —
Чтобы летняя душная мгла
Величаво и мимо плыла.

ПЕСНЯ

Забывается день. Забывается зной,
Удлиняется тень по востоку,
Водворяется ночь неживой синевой,
Неживой синевой и далекой.

Поднимается влага от красных песков,
Поднимается сердце — обманом,
Отрывается малым и бедным листком
От пустынной страницы Корана.

Уплывает земля. Раздвигается ночь,
Остановлено время в качаньи.
Только песня сжигается в ночь
На безводном и горьком отчаяньи.

Как бурнус, развевается звездный полет,
Под бурнусом раскинуты руки,
Только сердце араба плывет
И несет свою мертвую скуку,

В этой странной, пустой, неземной вышине
В этой лунной и призрачной дрожи —
Обрывается песнь на высокой струне,
Больше выдержать сердце не может.

* * *

Четыре улицы — раскинутыя руки.
Скорей беда настала бы,
Под ветром, как на палубе,
И этот
Непрекращающийся шепот
Осенней сырости конца.
Что ныне эти жалобы,
Какия песни прокляты,
Какия руки отняты
От мокрого лица?

Затертые и смытые,
Мы знаем все, и считаны
Все капли по стеклу.

Четыре улицы
Отмытыя,
И капли тычутся
забытыя,
Сленыя по стеклу.

И вот — осенняя стенания
По холоду воспоминаний.

* * *

Поворачивай дни покороче,
Веселее но осени стынь.
Ведь в холодная, ясная ночи
Выше звезды и горше полынь.

Если ходу осталось немного,
Если холодом вечер отмыт —
Веселей и стеклянной дорога,
Как струна, под ногами звенит.

Не снела в отдаленьи собачий
Вырастает и мечется вой,
И размах беспечальней бродячий
Под высокой, пустой синевой.

Все прошло, развалилось, опало
В светлой сырости осени злой,
И взлетает последняя жалость
Легче крыльев за бедной спиной.

* * *

Плачут струны в призрачном эфире,
В этом странном и звенящем мире,
Отплывают важно корабли
К берегам неведомой земли.

И встает огромная заря,
Раскрывая дальние моря.

И почей холодный пустоцвет
Загорается на много, много лет...

* * *

Все на местах. И ничего не надо.
Дождя недавнего прохлада,
Немного стен, немного сада...

Но дрогнет сонная струна
В затишьи обморочно-сопном,
Но дрогнет, поплывет — в огромном,
Псутолимом и бездонном...

И хоть бы раз в минуту ту,
Раскрыв глаза, хватая пустоту,
Не позабыть, не растеряться,
Остановить,
И говорить, и задышаться...

* * *

Все более немислим — серый свет
Над грудой разбросанных газет,
Огней тревожное мерцанье,
Соседа пьяное дыхание,
Тот дробный шепот, что разлит
Над трезвым цоканьем копыт,
И это ауто-да-фе
В затрепанном ночном кафе...

Но надо ль было — серый свет,
Так много — ночи, столько — лет,
Чтобы поверить: за стихами —

Всеножирающий рассвет
И утра ровный, белый пламень.

* * *

В четвертом часу утра
Все несбыточно, но не случайно:
Ведь и ленет почных утрат
Постепенно слагается в тайну.

Да ознобом сведенный зевок...
И рассвет оковал, как зевота,
Захотел одолеть и не смог
Недонитой в стакане дремоты...

Захотел одолеть — и не смог...
Побледневшим, усталым рассыльным,
Что бормочет и валится с ног
От ночей беготни непосильной,

От ночей шаркотни невпопад...
И неловким — спросонок — движеньем
На картонные столики в ряд
Растасовывал синия тени.

Потолок да окурок... плевок...
Вот зевота — от пыльных растений,
Вот и свет — неуклюжий комок
(Через час) голубых оперений.

Допивать, доживать, досыпать...
А рассвет ведь опять, как гримаса.
Если б можно до сути узнать
Умиранье четвертого часа.

* * *

Когда и дрема, и покой
В почном чаду истратятся,
И разговор, как шар пустой,
Отскакивая, катится,

И шелуху огней в слова
Перетирают жернова...

И нет возможности понять
(В который раз — не сосчитать)
Глухого утра за ночной
Белесоватой пеленой.

И остается —
Неземной
Звончайший шаг по мостовой.

* * *

Опустевшее время. Тревога поет,
Как пчела над полуденным зноем.
Разве время такое, что верен полет
Над прорвавшимся в мире покоем?

Корабли и дома. Ослепителен жест
Оловянно-белесаго моря.
Захрустевший песок. И тяжелый, как крест,
Серый камень на вскинутом взгорье.

Одинокая мачта высоко-легка,
Черной лодки засмоленный гребень...
Разве время такое... И флагом — тоска,
Опоздавшею птицей на слепнущем небе.

День не такой, как все, сошедший гладко.
Но застревающий — без снов.
Высокая стена, крылатка
И слишком четкий стук шагов.

И так шагать — и волосы по ветру,
И руки врозь, и сердце начеку,
Бесчувственным отмеривая метром
Пустынную, последнюю тоску.

А за углом — и в судорге, и в муке
Рассвет — на день похож и непохож.
Какая странная, предутренняя скука —
Покорно голову укладывать под нож!

Излом угла — и за углом возочек,
Бессмысленный предвестник пустоты,
И утренний рассыпанный песочек —
Последние заметывать следы.

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Уже дыханье ветра — лед,
И синева в сухих морщинах,
И снасти — только перелет
Над неразвергнувшейся пучиной.

И бурной ночи перерыв,
Уже как дрожь воспоминанья,
И флаг на мачте — вечный взрыв
Несмолкающего отчаяния.

А небо — голубым огнем
На неживой пергамент кожи...

Какой волны крутой подъем
В последний раз ему поможет?

* * *

Так тяжким накатом — надрывно и туго —
Сорвались и лопнули обручи стали.
Гроза обложила нас с запада, с юга — и далее.
Осада,
И натиск по краю воскрылий,
И вздутаго неба огромная лопасти,
И треплются желтые флаги усилий
Над пронастью.

А к вечеру тише,
И шепот почти что не слышен,
И ночь на краю, у ограды
Неслышного прочего
Чернее отточена.

* * *

От туманности завес,
Сквозь горячих дней отраву
Прорывается небес
Приоткрытая застава.

(И в разгар пустой возни
В слишком черной стоков тени
Вниз по желобу скользить
Неурядицей скольжений.)

Это тоже может быть:
Неотвязный запах тлеья
Перенять и перебить
Монотонностью падений.

Но смешней декорации нет —
В скучноватый, печальный рассвет
Суматошный врывается свист,
И кружится отчетливей лист.

Семенит, просыпаясь врасплох,
Пароходик, смешной скоморох,

И мотор на реке

та-та-та...

та-та-та...

Пустота, пустота...

* * *

Когда заботою удручены
Мы поднимаем в гору, в гору
Сухую накипь призрачной волны
И горечь праздных разговоров,

Так близится заманчивый удел,
И кое-как мы коротаем сроки...

Но в сумерки, на одинокий лад
Холодный прах перебирая,
Но в сумерки,
Когда часы безжалостно стучат,
Не призывая и не обличая,

От влажной тяжести ночной
Отгородившись каменной стеной,

Как медленно мы погибаем...



ПРОЗА
ВОСПОМИНАНИЯ

ПОЛУЗАБЫТОЕ

Парижское объединение писателей устраивает ряд литературных вечеров, посвященных памяти ушедших поэтов. Вот и мне хочется на этих столбцах вспомнить о нескольких замечательных фигурах литераторов, восстановить некоторые черты нашего смутного времени.

"Взвихренная Русь", "Ветер, ветер на всем Божьем свете"... В эти роковые годы, когда, как любили тогда писать, "в пламени войны и революции плавилась старая Россия", рушились вековые устои, гибли общепринятые понятия, в годы крови, лишений и ужаса поэзия приобретала особый смысл и особую сторону. Повседневная жизнь превращалась постепенно в непрерывную цепь лишений и страданий, нервы были напряжены до крайности, и фантастический, нереальный мир поэтического воображения, всегда рвавшийся из "нищих уз земных" к вечности, для многих приобретал неповторимую значительность, сверхреальность... Да и в практическом мире все мыслилось в каких-то планетарных размерах, необыкновенное становилось повседневным, невозможное — осуществимым.

Много с тех пор писалось мемуаров и исторических исследований о событиях того времени, а вот особая неповторимая атмосфера его постепенно забывается. Сохраняется лишь в некоторых литературных "памятниках", как, например, в "Двенадцати" Блока, где возможны и естественны были сопоставления проститутки Катьки, что "шоколад Миньон жрала", с Иисусом "в белом венчике из роз".

В последние годы войны, в первые времена революции в Одессе, где я тогда жил, создавалась литературная "Южнорусская школа", из которой вышла впоследствии целая плеяда писателей времени расцвета советской литературы: Бабель, Багрицкий, Олеша, Катаев, Ильф и Петров, Кирсанов.

Одесса пережила бомбардировку с моря, непрерывные уличные бои, голод, сыпняк, ужасы террора, восемь или десять смен власти — одессита больше ничто не удивляло. Помню время, когда город был поделен на три зоны: советскую, украинскую и добровольчески-союзную — и примерно раз в две недели одна зона "напирала" на другую в уличных боях.

В это время артист Б. Глаголин издавал журнал "Театруда" (на обыкновенном языке следует читать "Театр труда"), где печатались статьи некоего А. Бабичева, по профессии инженера, по существу — клинического параноика. Статьи его начинались приблизительно так: "Я, антихрист, призванный вершить судьбы мира", — и развивал он в них мысль об устройстве планетарного театра, где зрителями были бы не только жители нашей Земли, но также Марса и Нептуна.

Статьи никого особенно не поражали: раз "мировой пожар в крови", раз почему-то Китай должен рычать ("Рычи, Китай", В. Маяковского)*, то почему бы, собственно, Антихристу не устраивать планетарного театра? Тем более что, как у многих параноиков, мысли у Бабичева, отправляясь от исходной бредовой идеи, дальше текли совершенно логично.

В один из советских периодов оккупации города отделом народного образования заведовал мобилизованный для этой цели интеллигент К. Вот к нему-

** В действительности автором пьесы "Рычи, Китай" (1926 г.) был не Маяковский, а Сергей Третьяков (1892 — 1939). Примеч. В. А.*

то и явился однажды Бабичев с вечно озабоченным, устремленным куда-то взглядом, с портфелем под мышкой — излагать теорию Планетарного театра. Заведующий проектом заинтересовался, распорядился выписать мандат на реквизицию помещения, позаботился о пайках для будущих артистов, но под конец удосужился спросить: "А сколько вам, товарищ Бабичев, стульев для вашего театра понадобится?" И только когда последовал ответ: "Да я думаю, товарищ, на первое время пять — шесть миллионов хватит", — завгубнаобраз сообразил, что имеет дело с клиническим сумасшедшим.

1921 год. Голод, сыпняк, террор, необычайно суровая зима. Ледяной черноморский ветер гуляет по затихшему, скованному мраком и холодом городу. Неубранный снег сбился в твердокаменные груды, среди которых и при дневном свете пробраться почти невозможно. Глухая ночь, слышны одиночные выстрелы — неизвестно, кто и где стреляет. Группа молодых поэтов шатается по пустым улицам. Высокий юноша в рыхлой папаше и солдатской шинели, широко шагая, громко скандирует буйным, немного в нос голосом недавно им написанную поэму "Труба победы":

*Так я живу, харчевник и поэт,
Из города бежавший в этот угол...*

(Далее следовало описание благ земных, нечто вроде голландского натюрморта.)

Почти без передышки поэт переходит на пастернаковские стихи, более подходящие к обстановке:

*Чего мне бояться? Я тверже грамматики
бессонницу знаю. И мне ль не брести
босоногим лунатиком
среди лип и берез из слоновой кости...*

(Б. Пастернак. Цитирую по памяти.)

Патруль красноармейцев останавливает группу. "Кто такие? Налетчики, контрреволюционеры, сумасшедшие?" Но высокий юноша (Эдуард Багрицкий), поправляя съехавшую на затылок папаху, уверенно отвечает: "Ничего, товарищи, здесь свои, поэты. Поэты — особенная публика". А совсем приземистый, коренастый юнец (Юрий Олеша) в какой-то меховой женской кофте старается разъяснить: "Понимаете, поэты — народ особенный".

Начальник патруля, пожимая плечами, отпускает нас с миром...

Буйным юношей остался в моей памяти Эдуард Багрицкий (настоящая фамилия его была Дзюбин), "неистовый Эдя", как мы его называли. Багрицкий был поэтом дореволюционной формации. Ставши впоследствии "пролетарским" поэтом, думаю, в существе своем несколько не изменился. Политические и социальные бури его несколько не интересовали, попросту он их не замечал. Всю свою короткую жизнь прожил он устремлением и любовью к стихам.

Намеренно говорю: не к поэзии даже, а к стихам. Эта одержимость стихом и звуковой стихией помешала, быть может, Багрицкому стать очень глубоким поэтом. Но в одержимости и горении была его сила.

Сейчас, когда перечитываешь его стихи, они частично теряют свою силу и красочность. Они были связаны с его жизнью, они были его жизнь. Слушать их надо было в его чтении, когда, захлебываясь, он "гнал" строчку за строчкой; строки бежали одна за другой, нагоняли друг друга, как волны морского прибоя:

Пустынное солнце садится в рассол,

И выпихнут месяц волнами...

Свежак задувает!

Наотмашь!

Пошел.

Дубок, шевели парусами...

*Сквозь волны — навывлет.
Сквозь дождь — наугад.
В свистящем гонимые мыле
Мы рыщем на ощупь...
Навзрыд и не в лад
Храпят полотняные крылья...*

Литературой, прозой Багрицкий интересовался лишь вообще, "вскользь", по необходимости, стихи же помнил, как сам он выражался, "верстами". О поэзии знал, кажется, все, что о ней было написано по-русски (иностранными языками он не владел).

Жил Багрицкий "где попало и как попало", как настоящему поэту и полагается. В обыденной жизни он находился как бы "по ту сторону добра и зла" — да обычные моральные суждения к нему и неприменимы. Одно, как он говорил, было ему недоступно — это похвалить плохие стихи: язык не поворачивался. В суждениях о стихах он не знал ни лицемерия, ни пощады.

Да, правда, кроме страсти к поэзии, имел он еще и другую страсть — к птицам и рыбам. Птичьими клетками была всегда заставлена его комната, а рыб он держал в ванне, доверху наполненной водой. После поэзии обычной темой его разговоров была меновая торговля птицами и рыбами. Умер он 37 — 38 лет от роду от тяжелого гриппа, осложнившего мучившую его всю жизнь астму. Как говорил мне проездом в Париж тоже ныне покойный Ильф, перед смертью Багрицкий цитировал когда-то написанные строки, передававшие его ощущения удушья: "В раскрывшихся глазах мелькают только птицы".

Вот образ другого безвременно (кажется, 22 лет) погибшего поэта, Анатолия Фиолетова (А. Шора). В месяцы февральской революции, когда вся Россия митинговала на улицах и площадях, поэт с полудет-

ским лицом, склонивши голову немного набок, по-детски важно скандировал ставшее потом очень популярным четверостишие:

*О, сколько самообладания
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования*

— писал стихи о лошадях, о детях, об Оливере Твисте.

В эпоху Керенского студенты были мобилизованы, чтобы заменить старорежимную полицию. Я, например, был чем-то вроде околоточного надзирателя. Фиолетов стал инспектором уголовного розыска, да так там и остался при всяких сменах власти. Стал настоящей полицейской ищейкой. Но лирические стихи писать продолжал. Он был убит наповал (пуля попала в сердце) на так называемом Толкучем рынке налетчиком из банды, за которой, очевидно, не в меру охотился.

За несколько дней до смерти инспектор уголовного розыска А. Шор в загаженном, заплеванном помещении полицейского участка читал мне свое последнее стихотворение:

*Не архангельские трубы,
Деревянные фаготы
Пели мне о жизни грубой,
О печалях и заботах...*

А кончалось стихотворение удивительным, почти сверхъестественным предчувствием:

*Не скорбя и не ликуя,
Ожидаю смерти милой,
Золотого аллилуйя
Над высокою могилой...*

Тогда же Фиолетов (Шор) говорил, что хочет все бросить и бежать в сказочную страну — Индию...

Не хочется закончить статью на грустных воспо-

минаниях о поэтах, гибель которых мне известна. Вспоминается фигура пришедшего в наш город замечательного чудака — поэта Чичерина, Ликсей Миколаевича (как сам он произносил свое имя и отчество). Статный красивый человек, зиму и лето в легкой парусиновой блузе, в сандалиях на босу ногу. Чичерин пешком обходил всю Россию, изучая и собирая все народные говоры, чтобы проникнуть в самую глубь речевой стихии русского народного языка. У меня сейчас под рукой его сборник "Плафь" — фонетическое воспроизведение слова "Плавь" (сплав). Обычной орфографии Чичерин не признавал, так как служит она для передачи слов — мыслей, его же интересовала самая фонетика слова. Поэтому он придумал массу дополнительных знаков, долженствующих передавать звуковые оттенки речи. Понять сейчас его "заумные" произведения почти невозможно — но что за удовольствие было его самого слушать! Почти не понимая смысла, слушатель как бы сопереживал творческую эмоцию поэта и, казалось, проникал вместе с ним к самым истокам русского говора, русской речевой стихии. Голос у него был замечательный. Читал он и стихи Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Мандельштама.

Помню, начинал он задумчиво-грустно, в медленном темпе:

*Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных,
Бегут часы, и длится ожиданье
В полночный час вигилий городских...*

— и переходил потом в надрывающий душу напевный речитатив:

*О, нашей жизни скудная основа!
Куда как беден радости язык,*

*Что было встарь, то повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.*

(О. Мандельштам)

Никогда не забуду лица молодого скульптора Г., слушающего Чичерина. По лицу этому катились слезы умиления и грусти. Поистине, мы "дети страшных лет России". Разве в мирное, беззаботное время, в "года глухие" будет взрослый человек плакать, слушая лирические стихи?



СКИТАНИЯ

— Дайте мне десять франков, — говорит, не здороваясь, Юрий Олеша, низкий, приземистый, с проседью на висках.

Мы стоим у маленькой, в три ступеньки, лестницы уходящего ввысь кирпичного здания, крыша скрывается в лунном небе.

У меня немного больше десяти франков, и надо сообразить, как бы их не дать, чтобы не рассориться.

— Угнетен и приехал сюда, а они хотят сделать меня немцем... у меня звезда Альдебаран, и я написал "Зависть"...

Звезда Альдебаран освещает красные, разграфленные в белую полоску стены ровным бледным сиянием.

Мы входим внутрь огромного здания. Это больница — бесконечные коридоры, опираемся на спинку больничной койки, продолжая разговор, напряженно, не двигая губами, невесомые, как будто уже оба умерли. Временами говорю за него я.

— Наш друг, Эдя Багрицкий, умер, и умер достойно. И, задыхаясь, видел золотых рыб, и любимый щегол, которого он держал в клетке над постелью, реял над его головой... Моя слава тоже умрет, и я остаюсь в Париже...

— Но ведь Париж... это невозможно, это совершенно невозможно...

Было горестно и трудно дышать, и слезы не хотели пролиться.

Он еще ничего не знал, да и как было ему сказать, а я, задыхаясь, как Багрицкий, не оборачиваясь, видел — и слышал — шаги: "они" приближались. Впереди "он" в грязно-зеленом мундире, в фуражке, с взлетевшими, как крылья, полями, а за ними семенит угодливый господинчик и шествуют две нарядные дамы. Этих дам я еще не узнал в лицо, но все сейчас в корне изменится, наш разговор потеряет всякий интерес, и все, может быть, из-за десяти франков, которые все-таки придется дать — ведь во сне деньги ничего не стоят.

— Но ведь это госпиталь, — лепечет растерянно господинчик, хотя знает, что ничто не поможет, что

все будет не так, как он хочет и как мы с Олешей хотим, а совсем по-иному.

— Какие ручки у меня, какие маленькие ножки,— говорит вдруг по Блоку Олеша, съезживаясь и окончательно расплываясь, и я различаю свою руку, лежащую на мраморной доске столика, и газета, еще не совсем отделенная от длинных коридоров, скользит с шуршанием на пол. А я уже знаю, что тоска и боль оттого, что стальной угол багажной тележки, на которой, скрючившись, я лежу, впился мне в ребра, что я не в госпитале, а беженец из Парижа и провожу ночь на вокзале в Тулузе, и не могу растянуться, вытянуть измученное усталостью тело.

И не хочу этого знать, и продолжаю видеть убегающий коридор и в конце его — уходящего писателя.

...— Закрывайте за собой дверь, господин, это, кажется, не так трудно...

Холодное дуновение, возня и вздохи, старчески закашлялась собака за чьим-то баулом. Нехорошо, очень плохо, царапает, будто по сердцу, шаркающая гвоздем по цементному полу подошва, а рассвет никогда не наступит, и невозможно улечься на этой проклятой тележке, никак не забудешься сном, и какие странные бывают сны, и если рассказывать мое свидание с Олешей, нужно больше художественных подробностей, иначе выйдет неправдоподобно, неискренне, нереально.

А жандарм, который не хотел пропустить меня на вокзал, наверно, настоящий. Он проходит сейчас, осторожно ступая, лавируя между чемоданами, протянутыми ногами и столиками: верно, идет вздремнуть, утомившись; значит, уже три часа и через час — полтора наступит, пожалуй, рассвет.

А сейчас ни ночь, ни рассвет, а черт знает, что такое — будто светится темная сырость по углам и се-

реют пыль и наши испарения под потолком. Сияет синяя лампочка над журнальным киоском — от каких еще аэропланов тут надо спасаться? — выхватывает из сереющей массы газетные заголовки и какого-то дядю во фраке на большой, в пол-листа, карикатуре.

Сколько заголовков, и лозунгов, и девизов бегут ступеньками, расходятся уголочками, теряются в мутной темноте...

Для чего же над нашей нищетой и ничтожеством, над нашими распростертыми в прахе телами, над узлами и чемоданами, над хаосом столиков и тележек возвышается, господствуя, эта велеречивая, но уже надломленная иллюзия?

Вдруг они заговорят, эти девизы и лозунги, вещая из громкоговорителя, возглашавшего до сих пор, что мест в гостиницах нет и прибывающим предлагается ночевать на вокзале:

"Мы победим, потому что мы богаты". "Нет места панике". "Бомбардировка предместий Берлина"... бомбы сыплются на обезумевший город, дома валяются, как карточные, дым застилает небо...

Но не надо про газетную выставку, все равно выходит выдумка... и слишком литературно. И никак нельзя — о том, что за спиной у меня клетка для кур с толстыми камышовыми прутьями и большой белый попугай высовывает из нее огненный хохолок и время от времени говорит, картавя: "С добрым утром, господа, с добрым утром", — и кудахчет по куриному... И в полночь веселая гармоника уезжающих куда-то молодцов-авиаторов — над всей этой суетой и несчастьем...

— Закройте эту проклятую дверь, и навсегда!

Из-за веселых песенок и пропустил меня, вероятно, этот жандарм, который теперь, появляясь из темноты, негодуяще захлопывает дребезжащую дверь.

Нахмурился, пожевал губами и сказал "Пройдите" под ободряющие звуки гармошки.

А что было бы со мной без музыки, и когда "человек" отделился в нем от жандарма, и почему я не хотел дать десять франков Олеше, хотя, право, у меня очень мало денег и я не знаю, что будет со мной в эти дни всеобщего бедствия... Но все же, как стыдно отказывать в такой мелочи при тяжелых обстоятельствах и кривить душой, и, кажется, только во сне человек бывает вполне искренен и находится в своей истинной сущности, но все это уже по Фрейду, а у него так неясны все эти "над" и "под" и все эти "я", и сам он, говорят, никуда не мог убежать от своего анализа... а Гофман был горький пьяница... и как трудно все это понять, во всем этом разобраться.

— Невозможно же протягивать ноги в проходе. Не знаете ли, где достать воды, я умираю от жажды...

Я тоже многое бы дал за стакан чистой свежей воды, и мне очень нужно выйти, но не знаю, куда, и лень шевельнуться...

— Не плачьте, мадам, я видел, как его подобрала камионетка около Шатору,— говорит вдруг голос по-русски, и я различаю почтенных лет рыжеватого еврея, что сидел в поезде за два от меня чемодана — соседи называли его господином Гербером.

Я знаю и даму, которую он утешает, я знаю ее давно, я видел ее на парижских бульварах веселой, смеющейся, отбивающей шаг — в белом шелковом пальто и причудливой шляпе, привлекательной и волнующей, и профессия ее была явной, и стоило это сто франков. Но почему она понимает по-русски, как это неожиданно, и какое короткое словцо определяет по-русски ее профессию, и как смачно многие произносят его, смутно радуясь существованию

такого веселого и удобного института. У нее завернулся, отвис колбаской чулок на полной ноге, и в смутно брезжащем свете я вижу темную кайму отросших, как смешная кепка, под краской волос и потрескавшуюся от плача губу, а щеки ее кажутся бледно-синими.

Она не узнала бы себя в зеркале, и плакала бы еще пуще, и говорила, что это не она и больше не сможет зарабатывать денег, и вот еще потеряла в дороге друга, а может быть, сына.

Господин Гербер утешает ее уже вяло, почти механически, и думает все про свое, и страдает, и я понимаю его, потому что и он, как я, не может заснуть и дожидаться настоящего утра, и угол тележки впивается и в его бок, и мы понимаем друг друга всецело, не зная один другого и не сочувствуя. А он думает — как нехорошо, что при всем этом бедствии он еще родился евреем, и что будет, если немцы дойдут до Тулузы, и как было бы прекрасно, если бы он был не он, и какие от такой ошибки были бы большие и приятные последствия...

Надо заснуть, и это, может быть, удастся, если, повернувшись, подтянуть к себе незаметно соседний плед в ремнях и осторожно просунуть между двух чемоданов ноги — завтра будет трудный день, во что бы то ни стало надо найти комнату... Только невыносимо, что кто-то храпит с особенным каким-то затеком, как при болезни сердца — и очень неравномерно, что раздражает и окончательно гонит сон.

...а господин Гербер, если бы на самом деле родился иным, не мог бы об этом знать и этому радоваться...

...вот статский советник у Гофмана обменивается почему-то душой с молодым человеком, и как он судит о себе, что он статский советник, по душе или

по телу, и чем же, каким "я" он судит... Почему он наклоняется ко мне в вицмундире моего гимназического учителя и ласково гладит меня по лицу пухлой и теплой рукой, и бегущая от руки огненная стрелка то пронизывает меня, то уходит куда-то вдаль, радужные кружочки накатываются, находят друг на друга, а один белый плывет, не расплываясь, так что можно лежать и играть в серсо, не раскрывая глаз.

Но я раскрываю их, и перестаю беседовать с умершими и отсутствующими писателями, и вижу пыльное, с отсветом стекло, и наклеенную на нем бумажку с оторванным краем, и большое оранжевое солнце, на которое еще не больно смотреть.

Оно поднимается все выше, бледнея и уменьшаясь, и мы вступаем в залитую светом, но суровую и неуютную жизнь.

Памяти Эдуарда Багрицкого

Одесса. Зима 1921 года. Глухое время. Пронзительный черноморский ветер, пустынные улицы, скованные холодом и мраком. И высокий, в рыхлой папахе и солдатской шинели, широко шагающий поэт громко скандировал буйным, немного в нос, голосом только что написанную поэму "Труба победы".

*Так я живу, харчевник и поэт,
Из города бежавший в этот угол...*

Таким остается в моей памяти образ Эдуарда Багрицкого, "неистового Эдуарда", которого я знал в течение многих лет и который был другом моей юности.

Багрицкий — поэт дореволюционной формации. Но, думаю, все последующие политические и социальные бури он перенес легко.

Попросту он их не замечал, потому что всю свою короткую жизнь прожил одним устремлением и одной любовью: любовью к стихам.

Намеренно говорю: не к поэзии, а к стихам. Эта одержимость ритмом и звуковой стихией помешала, быть может, Багрицкому стать очень глубоким поэтом, но в одержимости и "горении" была его сила.

Литературой вообще он интересовался "вскользь". Стихи помнил наизусть, как он сам говорил, "верстами".

Знал все, что о поэзии на русском языке (иностранными языками он не владел) можно было знать. В этой области (и только в этой) — память совершенно поразительная.

В стихах для него не было любимой эпохи, школы. Он любил "хорошие стихи" (слова эти он произносил особенно "вкусно", как бы ощупывая материю стиха).

Добродушный атаман нестрашной поэтической "шайки" (поэтическими сверстниками его молодых лет были Юрий Олеша, Валентин Катаев — тогда поэты, рано умерший Анатолий Фиолетов), он в суждении о стихах не знал ни лицемерия, ни пощады.

На упреки в резкости оправдывался: "Язык не поворачивался хвалить", — а в литературных спорах почти доходил до рукопашной.

Я не имею под рукой написанных им книг, не читал "Думы про Опанаса", создавшей ему известность советского поэта. Но не сомневаюсь, что в стихах "пролетарских", как и раньше в акмеистических, он слышал и преследовал одно: самое стихию поэтической речи. Кроме поэзии, больших страстей у него, кажется, не было, а маленькие были: страсть к рыбам и птицам. Клетками была сплошь обвешана его комната, а рыб он держал в ванне, наполненной доверху водой. После поэзии основная его тема разговоров: меновая торговля птицами и рыбами.

По сведениям оттуда. В последнее время он сильно отяжелел, совершенно поседел в 38 — 39 лет, приобрел "маститый" вид. Но стихи по-прежнему читал с юношеским запоем, прекрасно и вдохновенно, а о рыбах и птицах говорил с прежним увлечением.

Сейчас, когда поэзия и интерес к ней как будто временно замирают, мне хотелось написать эти несколько строк о поэте, который всю жизнь горел ее пламенем и на этом пламени так рано сгорел.

Борис Вильде

Русские герои французского Сопротивления

"Простите, что я обманул вас, когда я спустился, чтобы еще раз поцеловать вас, я знал уже, что это будет сегодня. Сказать правду, я горжусь своей ложью: вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда. Да, я с улыбкой встречаю смерть, как некое новое приключение, с известным сожалением, но без раскаяния и страха. Я так уже утвердился на этом пути смерти, что возвращение к жизни мне представляется трудным, даже невозможным.

Моя дорогая, думайте обо мне как о живом, а не как о мертвом. Я не боюсь за вас. Наступит день, когда вы более не будете нуждаться во мне: ни в моих письмах, ни в воспоминаниях обо мне. В этот день вы соединитесь со мной в вечности, в подлинной любви..."

(Из последнего письма Б. Вильде к жене.)

Мало кто помнит, что самое слово "резистанс", ставшее освободительным лозунгом Франции, впервые "создано" русским — Борисом Вильде, расстрелянным вместе с другими шестью патриотами 23 февраля 1941 года.

Все поглощает "медленная Лета" — и страдания, и предательство, и низость, и высший героизм...

О Борисе Вильде, о "семи казненных" Франция вспомнила лишь в связи с только что происходившим процессом Габо, выдавшего всю группу первых резистантов (все дело известно под именем "Дела этнографического музея").

Сейчас я хочу сказать несколько слов лишь о вдохновителе и вожде этой организации, необыкновенном человеке — Борисе Вильде.

Вспоминая все подробности нашего длительного знакомства, прихожу к выводу, что все в этом человеке было необыкновенно и загадочно.

Появился он среди нас, литераторов, собравшихся на Монпарнасе, как-то неожиданно, "ниоткуда". Потом только, после его смерти, выяснилось, что сущностью его природы было вечное бунтарство, что он дважды уже сидел в тюрьме — в первый раз в 1922 году за попытку организовать движение в пользу автономии Латвии, второй раз — в Германии, за участие в антигитлеровском движении. Уже тогда — на стороне слабых против насильника. Но в нашей среде молчаливый, сосредоточенный и в то же время как будто шутивно ко всему относящийся Вильде о своем прошлом никогда не говорил.

Благодаря его сдержанности многие из тех, с кем он тогда встречался, находили его "интересным" чужаком.

Признаться, в светлых глазах его я всегда чувствовал какую-то загадку. Чуть-чуть приоткрылась мне тайна его души во время совместной поездки нашей в Брюссель. Мы не ложились спать, беседовали почти до утра. Вильде, рассказав кое-что из своей биографии, сказал, что ему невозможно жить мирной жизнью, без постоянного ощущения опасности. Какуюсь, тогда я подумал: этот человек, по существу своему, всего лишь искатель приключений. Я глубоко ошибался. В нем просто говорила любовь к жизни, какая-то неукротимая энергия, которая искала выхода.

Большая человеческая заслуга Вильде состояла в том, что эту силу в себе он сумел покорить, подчинить своей воле. В Париже он принялся за научную

работу, начатую в самых тяжелых материальных условиях. Он изучил эстонский, японский языки, принялся за китайский, выдержал экзамен на доцента этнографии, был участником двух научных экспедиций — стал серьезным ученым.

Пришла война, разгром Франции, оккупация. Это было время не только угнетения и горя, но и испытания, "пробный камень" человеческих душ. Те, кто не пережил этих лет, едва ли до конца могут понять атмосферу этого времени. Не было больше места для шуток, легкомыслия, прекраснодушной болтовни, "литературы". В то время быть, хотя бы пассивно, с немцами — значило одобрять грубое насилие, удушение всего человеческого, значило предать все лучшее, что есть в человеке: это был вопрос не политических убеждений, а самой примитивной морали. Короче, быть в то время с немцами — значило быть подлецом. Для слабых оставалась возможность "уйти в свою скорлупу", для сильных — почти безнадежная борьба с угнетателями.

Вильде выбрал последний путь. Пожертвовав жизненными благами, открывшейся перед ним после стольких лет нищеты и скитаний научной карьерой, он основал группу резистантов, стал издавать первый листок с призывом бороться против насильника.

Дальнейшая судьба — это история восхождения человеческой личности к последним вершинам самоотвержения и героизма. Свою участь в этой безнадежной борьбе он ясно предвидел. Одна из сотрудниц уговаривала его быть осторожнее, чтобы не попасть в тюрьму. Он ответил ей со сдержанной своей улыбкой: "Дорогая моя, мы все там будем, вы это сами знаете".

Вот что на процессе предателя Гаво рассказал бывший председатель немецкого военного суда Роскотен о поведении резистантов, руководимых Вильде:

"Поведение обвиняемых было изумительно до такой степени, что я громогласно заявил: осуждаемые покинут этот зал с высоко поднятой головой. После чтения приговора Вильде поднялся с места, чтобы поблагодарить меня за беспристрастие при ведении этого дела, и попросил разрешения пожать мне руку. Я тотчас же, без колебания, подошел к этим людям, которые в моих глазах были героями".

Тестю Вильде, французскому ученому Ф. Лоту, Роскотен после суда сказал о Вильде: "Если бы он не был нашим врагом, я хотел бы такого человека иметь своим другом".

Отправляясь на казнь, осужденные пели "Марсельезу". Вильде подбадривал остальных...

Борис Вильде умер французским гражданином. Для этой страны он — национальный герой. Но не одна любовь к Франции руководила его героическим поведением. Его самопожертвование выше жертвы простого патриота. Нельзя забывать, что по существу он остался чисто русским человеком. Франция была для него символом угнетения свободы и человеческого достоинства.

В нем сказались то мессианство, та "русская идея", о которой говорил Достоевский, писал Бердяев, та необычайная способность, выйдя за пределы чувств узконациональных, проникнуться идеалами мировыми, любовью всечеловеческой.

В жертву этому устремлению Вильде принес все: любовь к жизни, свою необыкновенную энергию и способности, свою железную волю.

Так что хочется верить, что от этого легче ему было умирать... Последние строки дневника, писанного им в тюрьме перед казнью: "Существует любовь. Остальное неважно. Раз существует смерть, она не может быть ничем иным, чем любовь".

Воскресенья в Кламаре

Страшная судьба у наших писателей. Двух больших поэтов "ухлопали" на дуэли, писателя, перед которым преклоняется весь мир, гоняли в Сибирь, другого отлучили от церкви...

Есть у нас, может быть, и другое преступление против памяти замечательных людей: небрежность, недооценка, забвение...

23 марта исполняется годовщина смерти Н.А. Бердяева. Получивший мировое признание мыслитель, оценен ли он по достоинству в русских — хотя бы эмигрантских — кругах?

Я не берусь писать об огромном философском наследии Н.А. Бердяева. Труд этот велик и далеко превышает размеры газетной статьи. В качестве его почитателя и младшего друга я хотел бы здесь поделиться личными о нем воспоминаниями.

Кстати, об оценке: в последние месяцы своей жизни Николай Александрович посмеивался: в советских газетах его честили как "посыпанного нафталином подвижника реакционной мысли на службе у англо-американского капитала". В эмигрантских кругах считали порой, что он чуть ли не состоит на советской службе... Объяснение этому простое: творческая мысль таких людей, как Бердяев, находится совсем в иной плоскости, чем борьба политических страстей. Измерить эту мысль политическими мерками невозможно. Смешно пытаться определить, например, творчество Достоевского его политическими высказываниями в разные периоды его жизни.

Н.А. Бердяев никогда не отрицал изменений, текучести своих взглядов на мировые события, свидетеле-

лем которых он был, не признавал этих изменений "ошибками". Идеально честный с самим собой, он этими событиями мучился, постоянно искал наиболее правдивого к ним отношения, искания эти были частью его самого, его жизнью.

Преданный его друг, ревнитель его памяти, Е.Ю. Рапп недавно рассказывала, как часто Николай Александрович высказывал одно и то же убеждение: творческая мысль никогда не может быть отвлеченной, она неразрывно связана с жизнью, она жизнью определяется. Бердяев был экзистенциалистом в самом чистом значении этого слова. Рыцарь "перманентной революции" и свободы духа, Бердяев жизненных ошибок не боялся.

В течение долгих лет его друзья и почитатели собирались у него по воскресеньям в Кламаре. Десять минут дачного поезда, чтобы приехать в тихий, провинциальный Кламар с его игрушечными домиками в стиле Морриса Утрило, забыть на время повседневные заботы, забыть вечные политические раздоры, где влияние среды, естественные склонности или просто соображения выгоды чаще играют гораздо большую роль, чем идеальные побуждения или искания правды.

Кстати, Бердяев часто говорил: какое прекрасное русское слово "правда", в его первоначальном народном смысле — нет однозначного слова на других языках. "Искать Правду" — значит, искать одновременно высшую истину и высшую справедливость...

Маленький, полузапущенный сад, позеленевший от парижских дождей Амур с перебитой рукой, столовая с гостеприимным круглым столом, чаепития, веселый огонь в камине — обстановка скромного помещичьего дома тургеневских времен. Неизменно внимательный и ласковый ко всем хозяин

в вечном черном берете, с вечной полупотухшей сигарой во рту.

Какая-то особая, я бы сказал, веселая свобода и непринужденность царила на этих собраниях. На "воскресеньях" у Бердяева можно было говорить обо всем, высказывать мнения самые противоположные. Бердяев был жадно любопытен к людям, простые обывательские высказывания его часто интересовали. Я вспоминаю разницу между этими воскресеньями в Кламаре и былыми литературными собраниями, тоже часто очень интересными, у Мережковских. Там надо было все время "гениальничать", парить на заоблачных высотах, до обывательской простоты разговор никогда не должен был снижаться.

Единственно, чего не терпел Николай Александрович, это — ложного пафоса, неискренней мысли, прикрытой "высокой" фразеологией. На всякую фальшь Николай Александрович реагировал страстно. Страстность мысли была в его натуре. Я помню, как этот философ с мировым именем (впрочем, свой "метафизический" возраст Бердяев определял в восемнадцать лет) пришел в бешеное, до сердечного припадка, негодование, когда некто прочел ему свой витиеватый трактат, где доказывалось, что свобода духа есть, собственно, не личная свобода, а сознательное подчинение общему духу, духу массы. Этому Николай Александрович стерпеть не мог. Для него свобода, как и все, во что он верил, была не вопросом книжной философии — это был вопрос жизни и смерти. В этот раз он отстаивал свои убеждения, изнемогая, задыхаясь, — все кончилось сердечным припадком.

И книги свои Бердяев писал с душевной страстностью, стараясь во что бы то ни стало высказать то, что считал истиной. Оттого и стиль его книг — стиль

лапидарный. Никаких уклонений для "красоты слога", никакая красивая фраза не должна исказить точной мысли. А мысли бежали, перегоняя друг друга, и всех их надо было зафиксировать на бумаге. Оставшиеся после него рукописи очень неразборчивы, полны сокращений, условных знаков — не было времени написать полностью слово, надо было поскорее записать следующую мысль. Е.Ю. Рапп предпринимает сейчас подлинно героический труд, слово за словом разбирая, восстанавливая изданные его рукописи.

Свободу, вечное становление Духа, свободного от окостеневших, объективированных, традиционных форм, Бердяев отстаивал совсем не как аристократическую привилегию некой элиты. В его понимании даже простая политическая свобода, свобода выбора убеждений и поступков — есть тяжелая и ответственная обязанность, а никак не привилегия. К так называемым "буржуазным свободам" Бердяев относился скептически. "Свобода,— говорил он,— это вовсе не значит повесить дощечку с надписью "злые собаки", "без звонка не входить" на дверях своего дома, а у себя делать все, что душе заблагорассудится".

Впрочем, от истинной избранности, аристократичности душевной Бердяев, несмотря на всю свою скромность и презрение к внешним отличиям, уйти не мог. Это было в его натуре. Сам себя он часто называл философом, а этому слову он придавал самое высокое значение. Как добродушно смеялся он, когда рассказывали ему, что на одном русском съезде собрались восемьдесят философов. "Неужели восемьдесят? Так много! Да, кажется, за всю мировую историю едва ли наберется такое количество философов".

В жизни Бердяев был очень скромнен. Органически не признавал никакой авторитетности, никакого внешнего превосходства одного человека над другим. Официальные почести в роде избрания доктором *honoris causa* Кембриджского университета были ему тягостны.

Он под разными предлогами откладывал поездку в Англию для участия в соответствующей церемонии. Чувствовалось, как противно было всей его натуре облачаться в традиционную докторскую тогу, произносить официальную речь (кстати, по поводу этого избрания одна газета писала: "Мистический фантазер, увенчанный реакционерами Кембриджа").

Е.Ю. Раппрассказывала следующий случай из последних месяцев его жизни. На ежегодном женеvском конгрессе "Интернациональные встречи", в обширной аудитории Бердяев кончил свой доклад "Прогресс техники и морали" и был увлечен беседой на эту тему в частном порядке. В аудитории волнение: к нему протискиваются через толпу. Молодая итальянская экс-королева, давнишняя его почитательница, хочет с ним побеседовать, приглашает его к себе. Увлеченный спором, Бердяев отмахивается: "А, что? Какая королева? Да подождите, разве вы не видите, что я не кончил разговора?" Встретившись с ней впоследствии, Николай Александрович с очень теплым чувством рассказывал об умной, симпатичной женщине, пораженной страшным несчастьем — опасностью навсегда потерять зрение.

Еще одна черта из моих воспоминаний о Н.А. Бердяеве. Этот высокий, порой беспощадно рушивший "устои" мыслитель обладал нежной — я боюсь сказать: по-детски нежной — душой. Очень любил и порой мучительно жалел животных, терпеть не мог, когда при нем резали со стеблей живые цветы...

23-го марта 1948 года нам по телефону передали тяжелую весть: Н.А. Бердяев скоропостижно скончался за письменным столом, за работой. Это переживалось как общественное несчастье, как личное большое горе. Не стало руководителя, одного из последних представителей русской религиозной мысли, нет больше оазиса в Клямаре.

(Некто, именующий себя русским и православным, осмелился написать: "Бердяев умер с сигарой во рту, без покаяния — божественное воздание за "его ереси". Невольно вспоминается изречение Николая I на смерть Лермонтова: "Собаке — собачья смерть"... Поистине, удивительная судьба у наших писателей!)

Н.А. Бердяев на смертном ложе, в маленькой, полупустой, аскетической спальне рядом с рабочим кабинетом, где не закрыты еще разложенные на письменном столе книги, не убраны рукописи, лишь слегка отодвинуто от стола кресло. В сложенных на груди руках — большое распятое, голова прикрыта черным беретом... Вглядываясь в его спокойное и в то же время устремленное какой-то последней устремленностью лицо, нельзя было не думать: этот человек знал, а может быть, и сейчас знает больше, чем мы все, здесь оставшиеся, знаем.



ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ

ПРОЩАНИЕ

Если, словно в пустом ожидании,
Беспредельное небо (знаешь заранее),
Сиротливей и каменной здания,
Это значит — прощание...

ВОКЗАЛ

Вознесенный фасадом особенно гол,
Четко шаркают ноги о каменный пол,
Суета, но не та,
Не такая, как те,
Не такая, как следует быть суете.

На часы и минуты разграфленная мука,
Можешь дни тасовать, как картежную скуку,
Можешь сердце по сходной продать
И вослед платочком махать...

Только там, в затаенном вагоне,
Бьется тот же ответ монотонный,
Без степеней, без слез, без досады,
Механически — мертвой цикадой,
И болтается — куклой во сне —
Чей-то вымокший плащ на стене.

* * *

Все ровнее, быстрее и нежней,
Все прилежней колеса стучали.
В голубом замираньи полей
Запах дыма и скрежет стали.

В серебро уходящая мгла,
Лошадей и людей вереницы,
Брызги влаги на взмахе крыла,
Хриплый окрик разбуженной птицы.

Эта белая даль — не снежна,
Эти тени дорог — не бескрайны,
Оттого эта тайна нежна,
Что осталось, как тени, случайной.

Только музыка все слышней,
Только небо светлее и ближе
В голубом замираньи полей,
На разъезде путей, под Парижем.

* * *

Поговорим теперь о том, о сем,
О горести мой, о бедствии твоём,

О счастье, о войне, о синема,
О глупости людской и об игре ума

(Какой пустой, беспутный — пятый час!),
О том, что в городе никто не знает нас,

За поворотом нас никто не ждет,
Свобода песни нам печальная пост,

И скука сквозь вечерние огни
Жужжащим роем осеняет дни...

Но все — в беседе двух друзей неутолимой,
В развороте слов — все будет мимо, мимо...

* * *

Утро рассветною пылью туманится
В розовом облаке перистых чаяний,
День начинают святые и пьяницы
Для ожиданий, намеков, раскаяний.

...Как на беду, ничего не случается.
Жить очень хочется. Жизнь продолжается.





ПРИЛОЖЕНИЕ

Памяти П.С. Ставрова

10 февраля с. г. после продолжительной болезни скончался в Брюнуа¹ (22 километра от Парижа) поэт Перикл Ставрович Ставров², принадлежавший к зарубежному литературному поколению.

Грек по национальности, П.С. Ставров родился в 1895 году в Одессе, там же окончил гимназию и в 1918 г., еще до прихода большевиков на Украину, юридический факультет Новороссийского университета. До 1926 года, пока Ставрову, как греческому подданному, не удалось, наконец, получить разрешение на выезд из Советской России, ему пришлось пережить в Одессе все то, что выпало тогда на долю жителей юга России в эпоху военного коммунизма, гражданской войны и первого десятилетия советской власти. В Одессе в 1918 году П. Ставров начал свою литературную деятельность — печатал стихи, а также не без успеха писал скетчи для "театра миниатюр".

Тогдашняя одесская литературная группа "молодых", к которым примкнул Ставров, включала несколько человек, имена которых теперь известны и в Советской России, и в зарубежье: Бабель, В. Катаев, Олеша, Ильф и Петров (брат Катаева, убитый в Севастополе во время войны), поэты Эдуард Багрицкий и Вера Инбер. В воспоминаниях, напечатанных в "Новом русском слове" несколько лет тому назад, Ставров дал живое изображение литературной и художественной атмосферы Одессы тех лет³. Ставров не захотел, по примеру многих своих коллег, остаться советским писателем и выехал за границу — "в свое отечество, в Грецию". Но, как сам он потом

рассказывал, "в своей стране", то есть в Греции, в Афинах, Ставров с женой все считали "русскими", да и сами они себя хорошо чувствовали только среди русских эмигрантов. Подобно тысячам таких же "русских иностранцев", живших на юге, большей частью родившихся в России и получивших русское воспитание и образование, Ставров до конца остался верен русской культурной традиции, долгое время живя за границей, думал и писал по-русски.

В 1933 году в Париже П. Ставров выпустил свой первый сборник стихов "Без последствий", обративший на него внимание, и вошел в среду парижского так называемого "младшего литературного (тогдашнего) поколения", стал выступать на литературных вечерах и собраниях, печатался в "Числах" и других парижских изданиях, сделался участником "воскресений" у Мережковских и "Зеленой лампы"⁴.

В тридцатых годах Ставров вместе с Рене Блэком, молодым французским писателем, в самом сердце Латинского квартала, около церкви Сен-Жермен и знаменитых до сих пор кафе: "Бонапарт", "Флора" и "Кафе двух божков" — открыл небольшую книжную лавку "Под лампой" ("Sous la lampe")⁵. Не берусь утверждать, что компаньоны получали большие доходы от своего дела, но почти весь день в лавке теснился народ, причем многие были отнюдь не покупателями, а русскими или французскими коллегами обоих владельцев. Помню, из французов бывали Мальро, Авлин, Дрие ля Рошель — всех теперь уже не помню. Из русских — "весь Монпарнас" в то время перебивал в "Sous la lampe", причем некоторые из "монпарнасцев" время от времени получали там и кое-какую работу. Разговоры — русские и французские — непременно кончались тем, что, оставив кого-нибудь из коллег стеречь лавку, осталь-

ные гурьбой шли в кафе, преимущественно "Бонапарт", самое дешевое и подлинное⁶. Бонапарт в свое время действительно бывал в этом кафе. Вспоминая это время уже после войны, мы со Ставровым шутили, что, наверное, каждый участник выпил в "Бонапарте" за все годы целую бочку черного кофе!

Был у владельцев "Под лампой" и собственный автомобиль для привоза и "экспедиции" товара — старый — трехместный, бывший спортивный, который мы в честь автомобиля Ильфа и Петрова в "Золотом теленке" (Ставров как раз переводил тогда "Золотого теленка" на французский язык) окрестили "Антилопой гну". В свободное от дел время "Антилопа гну", конечно, применялась для всяких "литературных" поездок; Ставров был очень хорошим шофером и совершал на своей "Антилопе" чудеса автомобильного искусства, особенно после монпарнасских кутежей. Однажды "Под лампой" появились и авторы "Золотого теленка": Ильф и Петров проездом в Америку на несколько дней остановились в Париже и пришли навестить своего бывшего товарища по одесским литературным собраниям⁷. Само собой разумеется, что в "Под лампой" был склад "Чисел" и других тогдашних "молодых" изданий.

В 1934 году Ставров выпустил второй сборник стихов "Ночью", затем вместе с аргентинцем-переводчиком Лона⁸ перевел на французский язык "Золотого теленка" и "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова для издательства Альбен Мишель и "Петра I-го" Ал. Толстого для издательства "Эн-Эр-Эф"⁹.

В год войны, 1939-й, Ставров был избран председателем Объединения русских писателей и поэтов во Франции, должность которую, в силу сложившихся обстоятельств, он нес до конца

1944 года. Во время оккупации, несмотря на то, что немецкими властями официально закрыты были все прежние русские общественные организации, Объединение, так же, как и Союз писателей и журналистов, продолжало свою деятельность негласно, главным образом приходя на помощь остро нуждавшимся своим членам и тем, кто подвергался преследованиям по расовым или же каким-либо другим причинам. В годы оккупации квартира Ставрова была пунктом негласных встреч литераторов, местом, где можно было узнать новости друг о друге, порой (бывали и такие случаи) — переночевать нелегально. Все, кто был в курсе тогдашних дел литераторов, с теплым чувством вспоминают деятельность обоих Ставровых — особенно Марии Ивановны Ставровой — в эти трудные годы.

После освобождения Франции, в 1945 году, Ставров вместе с С.К. Маковским начал издавать литературный журнал "Встречи", просуществовавший, к сожалению, недолго — за недостаточностью средств. Еще во время оккупации Ставров начал писать прозу — рассказы, которые с 45 г. он печатал в "Новом русском слове" и других изданиях, а также поместил во французских журналах ряд своих, им самим переведенных, рассказов, продолжая работу и переводчика, так, например, в первые годы после освобождения Ставров поместил в различных французских изданиях ряд рассказов И. Бунина. В последние годы Ставров напечатал в "Новом русском слове" и других изданиях ряд статей по вопросам искусства и практических отзывов, готовил к печати книгу своих рассказов и принимал — до последних месяцев своей болезни — деятельное участие в литературной жизни русского Парижа.

Русской эмиграции в Америке хорошо известно о тяжелом положении наших писателей и поэтов, проживающих во Франции. Лишенные после войны возможности существовать на свой литературный заработок, в большинстве случаев уже не молодые и больные люди, иногда — инвалиды, многие парижские литераторы постоянно испытывают ряд материальных и моральных трудностей. Нелегко вести борьбу за существование, довольствуясь случайным, скудным литературным заработком, временной работой или единовременной выдачей из Литературного фонда, и так — годы. Ставров тоже прошел через это испытание. Чем серьезнее становилось состояние его здоровья, чем меньше оставалось сил, тем все труднее и труднее оказывалось для него существование — доктора, лекарства, радиоснимки, при все возрастающих ценах. Ни для кого не секрет, что постоянные просьбы парижских "объединений" и всякие "частные случаи" давно уже утомили своими "требованиями" и общества, и частных благотворителей. Ни для кого не секрет тоже, что вся эта помощь, сравнительно с нуждой, недостаточна. А когда человек очень болен, положение его становится поистине трагическим, и нужно иметь большое личное мужество и сдержанность, чтобы терпеть молча.

Ставров имел это мужество, дотерпел до конца.

Сигизмунд Олесевич

Сигизмунд Станиславович Олесевич — одна из наиболее интересных фигур среди одесских художников начала XX века. Был известен как живописец и журнальный график. Родился в 1891 году, в начале 1900-х учился в реальном училище Св. Павла, а затем — в коммерческом училище Файга. В эти годы в училище Файга преподавали рисование Кириак Костанди и Адольф Остроменский (руководитель известной в Одессе рисовальной школы). Вероятнее всего, первые уроки будущему художнику давали именно они.

В 1910 году Олесевич дебютирует на одесской выставке польских художников. Дальше путь его лежал в Париж, ибо именно оттуда были присланы работы на весеннюю выставку картин 1914 года, в которой участвовали и московский "Бубновый валет", и мюнхенский "Синий всадник" во главе с В. Кандинским, и члены русской художественной колонии в Париже.

После начала I мировой войны Олесевич вернулся в Россию. До 1916 года его имя на страницах одесской прессы не упоминалось. Однако осенью 1916 — он в Одессе, участвует в выставке картин молодых художников (будущих "независимых").

В 1917 году Олесевич начал сотрудничать в сатирическом журнале "Бомба". Рисунки и карикатуры Олесевича, очень узнаваемые, сделанные в характерной острой, экспрессивной манере, появлялись почти в каждом номере, иногда по несколько сразу. Сегодня эти рисунки — основная часть известного нам графического наследия художника. Кстати, в журна-

ле публиковались и стихи П. Ставропуло. А на выставке одесского Общества независимых художников осенью 1917 года Олесевичем был показан портрет "Поэт П. Ставропуло". Работы Олесевича экспонировались и на двух последних выставках "независимых" 1918 и 1919 годов.

В начале 1920-х Олесевич уехал из Одессы, а в 1925-м — он уже в Париже: в июльском номере авторитетного французского журнала "Art et decoration" опубликована фотография стенной росписи, сделанной художником в павильоне "Primavera" большого парижского магазина эстампов. Журнал и в дальнейшем уделял внимание талантливому одесситу — в начале 1930-х на его страницах можно найти репродукции работ Олесевича, отзывы о них, иллюстрации к детским книгам, сообщение о персональной выставке акварели в галерее "Четыре камина" в 1931 году. К сожалению, дальнейшая судьба Олесевича неизвестна. Понятно одно — начинался его парижский период значительно удачнее, чем у большинства его коллег в эмиграции.

Комментарии

Стр. 6. П. Сторицын "Из альбома пародий". Журнал "Бомба", Одесса, 1857 г., № 28

Стр. 9. "В кинематографе". Журнал "Бомба", Одесса, 1907 г., № 22

Стр. 10. "Мировой конгресс". Журнал "Бомба", Одесса, 1917 г., № 24

Стр. 11. "Диана". Журнал "Бомба", Одесса, 1917 г., № 25

Стр. 14. "Без последствий" — первая книга. Париж, 1933 г.

Стр. 15. Автограф П. Ставрова — И. Ильфу

Стр. 38. "Ночью" — последняя книга. Париж, 1937 г.

Стр. 55. "Полузабытое" — мемуары. "НРС", Нью-Йорк, 23.01.1949 г.

Стр. 63. "Скитания" — новелла. Журнал "Новоселье" №№ 29 — 30 (1946 г.)

Стр. 70. "Памяти Э. Багрицкого" — мемуары. "НРС", Нью-Йорк, 30.11.1949 г.

Стр. 72. "Борис Вильде", "Новое русское слово". Нью-Йорк, 30.11.1949 г. К сожалению, П.С. Ставров не имел документальных данных о Б. Вильде и многое пересказывал по легендам.

Стр. 76. "Воскресенья в Кламаре". "НРС", Нью-Йорк, 10.04.1949 г.

Стр. 83. "Прощание". "Вокзал". Журнал "Новоселье" №№ 24 — 25 (1946 г.)

Стр. 84 — 85. "Поговорим теперь". "Утро рассветное..." Журнал "Современные записки", № LXIX (1939 г.)

Стр. 87. Ю. Терапиано "Памяти П. Ставрова". "НРС", Нью-Йорк, 17.02.1955 г.

Опубликованную Ю. Терапиано биографию П.С. Ставрова, вероятно, можно рассматривать как наиболее полную, написанную его современником. Или, по меньшей мере, как своеобразную путеводную нить. Исходя из такой важности этого текста, ниже предлагаются отдельные примечания и комментарии.

1. Brunoy, департамент Essonne.

2. Он же: Перикл (Пира) Ставрович Ставропулос. См. библиографическую справку: И. Ильф, "Записные книжки. Первое полное издание". М., "Текст", 2000. Стр. 601.

3. См.: П. Ставров, "Полузабытое". "Новое русское слово", Нью-Йорк, 23.01.1949 г.

4. "Воскресенья" у Мережковских бывали в их парижской квартире, в доме 11-бис на улице Колонель Бонне (11-bis, avenue Colonel-Bonnet, Paris 16-eme). Собрания "Зеленой лампы" (1927 — 1939 г. г.) проходили в Париже в разных залах Российского торгово-промышленного и финансового союза. Первое состоялось 5.02.1927 г. по адресу: пл. Дворца Бурбонов, 5 (5, place du Palais Bourbon, Paris 7-eme).

5. Книжный магазин "Под лампой" ("Sous la lampe"), о котором идет речь у Ю. Терапиано, находился по адресу: улица Вожирар, дом 84 (84, rue de Vaugirard, Paris 5-eme). В настоящее время в этом помещении расположен магазин старой книги "Два мира" ("Les Deux Mondes"). Магазин "Под лампой" ("Sous la lampe"), заимствовавший это название у прежней книжной лавки, но, по существу, не имеющий к ней никакого отношения, находится по адресу:

Университетская улица, дом 141 (141, rue de L'Universite Paris 7-eme).

6. Кафе "Бонапарт" ("Le Bonaparte") — в квартале Сен-Жермен-де-Пре, на углу улиц Аполлинери и Бонапарта (Rue Apollinaire / Rue Bonaparte, Paris 6-eme). "Самым дешевым" его в наше время назвать никак нельзя, как нельзя отнести к числу подобных расположенные рядом и упомянутые Ю. Терапиано "Дё Маго" ("Deux magots") и "Кафе де Флор" ("Cafe de Flor").

7. Подробнее об этих парижских встречах в сент. 1935 г., по пути Ильфа и Петрова из Европы в Америку, см.: И. Ильф, "Записные книжки. Первое полное издание". М., "Текст", 2000. Стр. 406, 414, 421, 422.

8. Правильно: Ллона.

9. "Эн-Эр-Эф" — имеется в виду основанный в 1909 году и продолжающий выходить журнал "NRF" ("Nouvelle Revue Francaise").

Оглавление

О, тихая моя свобода	5
Из ранних стихов	8
Две книги	13
Без последствий	14
Ночью	38
Проза. Воспоминания	54
Полузабытое	55
Скитания	63
Памяти Эдуарда Багрицкого	70
Борис Вильде	72
Воскресенья в Кламаре	76
Из последних стихов	82
Приложение	86
Ю. Терапиано. Памяти П.С. Ставрова	87
О. Барковская. Сигизмунд Олесевич	92
Комментарии	94

НА ВЗМАХЕ КРЫЛА

Экз. № 121

Всемирный клуб одесситов.
Составители и авторы комментариев:
Виталий Амурский,
Евгений Голубовский.

Иллюстрации:
Сигизмунд Олесевич (Одесса – Париж)

Отпечатано в типографии издательства "ВМВ



Подписано в печать. 3.03.2003
Формат. 84x108 ¹/₃₂
Гарнитура PetersburgС.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл.печ.л.5,04. Тираж 150 экз.
Заказ 27-03.

ВСЕМИРНЫЙ
КЛУБ ОДЕССИТОВ



WORLD - WIDE
CLUB OF ODESSITES

7, Marzlevskaya St., Odessa, 65014, Ukraine. Tel. (+380482) 24-90-80